

A black and white close-up portrait of Annie Ernaux. She has shoulder-length, wavy hair and is looking slightly to the left of the camera with a neutral expression. Her right hand is partially visible in the lower-left corner, with a watch on her wrist.

лауреат премии
Ренодо и Prix de la Langue Française

АННИ ЭРНО

ГОДЫ

МЫ — ЭТО НАША ПАМЯТЬ

Жизнь как роман

Анни Эрно

Годы

«ЭКСМО»

2008

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Эрно А.

Годы / А. Эрно — «Эксмо», 2008 — (Жизнь как роман)

ISBN 978-5-04-155080-6

Образы составляют нашу жизнь. Реальные, воображаемые, мимолетные, те, что навсегда запечатлеваются в памяти. И пока живы образы, жива история, живы люди, жив каждый отдельный человек. Роман «Годы» – словно фотоальбом, галерея воспоминаний, ворох образов, слов, вопросов, мыслей. Анни Эрно сумела воплотить не только память личности, но и коллективную память целой эпохи в своей беспрецедентной по форме и стилю прозе. И страницы, пропитанные нежным чувством ностальгии, смогут всколыхнуть эти образы в вашем сознании, увековечив воспоминания навсегда.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-155080-6

© Эрно А., 2008

© Эксмо, 2008

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

34

Анни Эрно

Годы

Annie Ernaux
LES ANNÉES

Copyright © Editions Gallimard, Paris, 2008

© Беляк А., перевод на русский язык, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Французская писательница Анни Эрно родилась в маленьком нормандском городке Лилльбон, недалеко от Гавра, и провела юность в другом городке Нормандии – Ивето. После получения высшего филологического образования и ученой степени преподавала современную литературу в лицеях городов Аннеси, Понтуаз и в Национальном центре дистанционного обучения. Живет недалеко от Парижа, в городе Сержи департамента Валь-д-Уаз (регион Иль-де-Франс).

У нас есть лишь история нашей жизни, да и та – не наша.

Хосе Ортега-и-Гассет

– Да. Забудут. Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, – придет время – будет забыто или будет казаться неважным. (...) И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной...

Антон Чехов

Исчезнут все образы, кадры, картинки:

женщина, которая писала на виду у всех, присев на корточки за сараем, приспособленным под кафе, на краю послевоенных руин, в Ивето, а потом вставала, подтягивала трусы, одергивала юбку и возвращалась в кафе

залитое слезами лицо Алиды Валли, которая танцует с Жоржем Вильсоном в фильме «Такая долгая разлука»

мужчина на тротуаре в Падуе летом 90-го года – при виде его скрюченных рук, загнутых к плечам, сразу вспоминался талидомид – тридцатью годами раньше его прописывали беременным от приступов тошноты – и тут же откуда-то вылезал соответствующий анекдот: «Будущая мать вяжет младенцу кофточку и периодически заглатывает талидомид: ряд – таблетка, ряд – таблетка. Подруга в ужасе говорит ей: «Ты что, ребенок родится без ручек!» – «Ничего, – отвечает мамочка, – рукава-то у меня как раз и не получаются»

Клод Пьеплю, ведущий за собой полк легионеров, держа в одной руке знамя, а в другой – веревку с привязанной козой в одной из комедий группы «Шарло»¹

¹ Клод Пьеплю – французский комический актер. «Шарло» – известная вокальная и комическая группа 1970–1980-х годов, снявшаяся в полсотни десятках популярных комедий.

строгая дама с альцгеймером, одетая в пестрый халат, как все пациентки дома престарелых, только с синей шалью на плечах, без усталости вышагивающая по коридорам, неприступная, как герцогиня Германтская² на прогулке в Булонском лесу, – и вспомнившаяся по ассоциации Селеста Альбаре, служанка Пруста, увиденная как-то в вечерней передаче Бернара Пиво³

женщина на сцене летнего театра, заключенная в ящик, который мужчины протыкали серебряными шпагами, и под конец выскакивающая оттуда живой и невредимой: аттракцион под названием «Муки женщины»

мумии в истлевших кружевах, стоящие вдоль стен монастыря капуцинок в Палермо

лицо Симоны Синьоре с афиши фильма «Тереза Ракен»

детский ботиночек, который крутился в витрине обувного магазина *André* в Руане, на улице Гро-Орлож, и плывущая по кругу надпись: «Очень далеко пойдет тот, кто носит «Бэби-бот»

неизвестный мужчина на римском вокзале Термини, который приспустил штору в купе первого класса и видимый только ниже пояса, в профиль, мастурбировал на виду у юных пассажиров из соседнего состава

человек из рекламы посудомоечного средства, которую крутили перед сеансами в кино: вместо того чтобы мыть грязные тарелки, он энергично разбивал их об пол. Строгий голос за кадром комментировал: «Нет! Это не решение проблемы!» – и человек с отчаянием смотрел в зрительный зал: «Но в чем же тогда решение?»

пляж в Ареньес-де-Мар с идущей вдоль него железной дорогой, постоялец отеля, похожий на актера Заппи Макса

гордо поднятый в воздух новорожденный младенец, красный, словно освежеванный кролик, в родильном зале кодеранской клиники имени Пастера, и он же полчаса спустя спит в кровати, лежа на боку, до плеч укутанный одеялом, выложив одну ручку вверх

развинченная походка актера Филиппа Лемэра, мужа Жюльет Греко⁴

телевизионная реклама, где отец семейства, прикрывшись газетой, безуспешно пытается поймать губами драже *Picorette*, подражая своей дочке

дом с навесом из дикого винограда, где в шестидесятые годы располагалась гостиница, – номер 90А по набережной Дзаттере в Венеции

сотни застывших неподвижно человеческих лиц – на снимках, сделанных перед их отправкой в лагерь, – выставка во Дворце Токио, в Париже, в середине восьмидесятых годов

² Герцогиня Германтская – один из центральных персонажей романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

³ Бернар Пиво – известный литературный критик, телеведущий, автор культовых литературных передач-долгожителей «Апострофы» и «Культурная среда».

⁴ Известнейшая французская певица, актриса, шансонье, одна из «королев Сен-Жермена» в 1950-1970-х гг.

уличный туалет за домом в Лильбоне, нависший над рекой, – падающие в воду и медленно уплывающие вниз по течению фекалии и бумага

все расплывчатые картинки первых лет жизни с яркими вспышками какого-нибудь летнего воскресенья, образы снов, в которых умершие родители живы и бесконечная дорога уходит вдаль

Скарлетт О’Хара, которая тащит по лестнице убитого солдата-янки – и мечется по улицам Атланты в поисках врача для Мелани, у которой начались роды

Молли Блум, лежащая рядом с мужем и вспоминающая парня, который поцеловал ее в первый раз, и говорящая да да да

Элизабет Драммонд, убитая вместе с родителями в 1952 году возле дороги в Люре⁵

образы реальные или воображаемые – те, что вспоминаются и возвращаются даже во сне

связанные с каким-то конкретным мгновением прошлого, окутанные особым, только ему присущим светом.

Они исчезнут все, разом, как исчезли миллионы образов, что хранились в головах у бабушек и дедушек, умерших полвека назад, и у родителей, умерших вслед за ними. Там среди множества других людей, ушедших еще до нашего рождения, были мы – мальчики или девочки, точно так же, как в нашей памяти сосуществуют наши дети, какими они были в младенчестве, и наши родители или одноклассники. И когда-нибудь мы сами будем соседствовать в памяти наших детей – с внуками и с теми, кто еще не родился. Память неотступна, как влечение. Она компонует и перетасовывает – мертвых и живых, реальных людей и выдуманных, историю – с домыслом.

Вдруг исчезнут тысячи слов, что когда-то обозначали различные предметы, людские лица, поступки и чувства, выстраивали мир, будоражили душу, смущали и возбуждали плоть

лозунги, надписи на стенах домов и в кабинках туалетов, высокая поэзия и похабные анекдоты, названия книг

«анамнез», «эпигон», «ноэма», «теоретический» – термины, которые выписывали в тетрадку вместе со значением, чтобы не лазать в словарь каждый раз, когда их встречаешь

обороты, которые запросто употребляли другие – и, казалось, вряд ли когда-нибудь удастся освоить самому: «несомненно», «приходится констатировать»

гадости, которые хочется скорее забыть, но от стараний выбросить их из головы все крепче закрепляющиеся в памяти: «сука драния»

слова, которые мужчины говорят ночью в постели: «я – твой», «делай со мной все, что хочешь»

⁵ Загадочное, так и не раскрытое преступление.

жить – это пить себя, не ощущая жажды

что вы делали 11 сентября 2001 года?

слова из воскресной мессы – *in illo tempore*⁶

выражения, давно утратившие контекст и вдруг услышанные вновь, которым радуешься, как чудом сохранившейся вещи, внезапно обретенной потере: «смутьян», «устроить бузу», «умереть не встать!», «косорукая!»

слова, прочно связанные с каким-то человеком или местом, как девиз, – на одном участке руанского шоссе кто-то в машине сказал фразу, и теперь, стоит там оказаться, эти слова выскакивают, возникают в уме, как потайные фонтанчики в Петергофе, которые выстреливают водой, как только на них наступишь

примеры из учебников по грамматике, цитаты, ругательства, песни, мудрые изречения, которые в юности мы выписываем в тетрадки

наш аббат Трюбле все строчит себе

слава для женщины – это роскошный траур по утраченному личному счастью

память живет вне нас, в дождливом дыхании времени

апофеоз для монашки – жить девой и умереть святой

ученый разложил результаты раскопок по ящикам

«тот кулон – поросенок с сердечком / за сто су ей отдал продавец / он сулил ей счастливую встречу / разве жалко сто су за любовь»

«я расскажу вам историю любви»

а можно «чтотоделать» вилок? Можно лить «непоймичто» в рожок младенцу?

(«карты, сдавайтесь!», «дело пахнет керосином», «ясно, что ничего не ясно», «ну, короче», – как говорил король Пипин...», «выход есть! – сказал Иона и выбрался из кита», «что значит «хватит»? – хватать-то нечего!», «концы в воду прячут только кашалоты!» – тысячу раз слышанные присказки и каламбуры, несмешные, приевшиеся, пошлые до отвращения, пригодные лишь для подтверждения семейной общности и сгинувшие сразу после распада брака, но временами всплывающие в речи, совершенно ненужные и бессмысленные вне существовавшего когда-то клана: по сути это все, что осталось от мужа после многолетней жизни врозь)

слова, которые, как ни удивительно, уже существовали в какой-то момент прошлого – «мастак» (письмо Флобера Луизе Колле), «корпеть» (Жорж Санд ему же)

⁶ Во время оно (*лат.*).

латынь, английский, русский язык, выученный за шесть месяцев ради одного парня из СССР, – осталось только *da svidania, ya tebia lioubliou, karacho*

хорошее дело браком не назовут

метафоры, такие затертые, что удивительно, как их еще употребляют: «вишенка на торте», «львиная доля»

«Мать, погребенная вне сада первозданного»⁷

устаревшие выражения: «бежать впереди паровоза; потом забыли, зачем бежать впереди паровоза; потом забыли, как выглядит паровоз

слова мужские, неприятные: «кончать», «дрочить»

слова, заученные для занятий, рождавшие чувство победы над сложностью мироустройства. Со сдачей экзамена они вылетали из головы быстрее, чем запоминались

бесконечные присказки и сентенции дедушек-бабушек, родителей, которые после их смерти вспоминались чаще, чем лица: «чужую шляпу на голову не наденешь»

марки исчезнувших товаров из прошлого – внезапно всплывая в памяти, они радовали больше, чем названия известных доньше фирм: шампунь «Дульсоль», шоколад «Кардон», кофе «Ниди» – вспоминались, словно близкие люди, которых уже не с кем помянуть

«Летят журавли»

«Марианна моей юности»

солнечная погода порадует парижан...

миру не хватает веры в непреходящую истину.

Все пропадет в единый миг. Сотрется словарный запас, копившийся от колыбели до смертного одра. Наступит тишина, и не будет слова, чтобы обозначить. Ни звука не вырвется из открытого рта. Ни единого «я» или «мне». Но язык будет продолжать отливать мир в слова. В беседах за праздничным столом еще будет звучать наше имя, постепенно отделяясь от внешности, пока и оно не потонет в безымянной массе предков.

Овальная фотография цвета сепии, вставленная в паспарту с золотым обрезом, укрытая листом жатого пергамента. Сверху надпись: «Фото-модерн, Ридел, Лилльбон (S. Inf.re). Тел. 80». Крупный насуспенный младенец с темным венчиком волос на макушке, с голыми ручками и ножками, сидит на подушке посреди деревянного резного стола. Задник в виде облаков, гирлянда резьбы, чуть задравшаяся вышитая рубашка (низ животика прикрыт ладонью), ляжка, скользнувшая с пухлого плечика, – напоминают картинные образы амуров и ангелочков. Такой снимок наверняка был разослан по почте всем родственникам, и каждый тут же стал гадать, с какой стороны семьи случилось прибавление. Это фото из семейного архива –

⁷ Первая строка поэмы Шарля Пеги «Ева».

датируемое, по всей видимости, 1941 годом, – наглядно демонстрирует мещански обставленный ритуал вхождения человека в мир.

На следующем снимке стоит подпись того же фотографа, хотя бумага паспарту попроще и золотого обреза нет, – он также наверняка предназначался для семейной рассылки. На нем девочка лет четырех, серьезная, почти хмурая, хотя и с круглыми румяными щеками, с короткими волосами, разделенными на пробор и забранными назад заколками, на которых, как бабочки, сидят банты. Левая рука опирается на тот же узнаваемый резной стол в стиле Людовика XVI. Кофточка туго обтягивает ее тело, юбка на помочах спереди кажется короче из-за выпирающего пухлого живота – возможно, это признак рахита (около 1944 г.).

Еще два небольших снимка с зубчатыми краями, скорее всего датируемые тем же годом, на них та же девочка, только чуть похудевшая, в платье с воланами и рукавами-шариками. На первом изображении она кокетливо прильнула к плотной женщине, одетой в полосатое платье, с прической в виде толстого валика из зачесанных вверх волос. На другом снимке у девочки поднят вверх кулачок левой руки, а правая сжимает ладонь мужчины – высокого, одетого в светлый пиджак и брюки с защипами, стоящего в вольной позе. Оба снимка сделаны в один и тот же день на мощеном дворе возле низкой каменной стенки с торчащими из-за нее цветами. Поверх голов тянется бельевая веревка с забытой прищепкой.

По праздникам, после войны, в бесконечной медлительности семейного застолья всплывало из небытия и обретало форму время, начавшееся до нас, – то самое, в которое, наверно, вглядывались родители, когда, не слыша наших вопросов, сидели, глядя в никуда; то время, где нас не было, где нас не будет никогда, время до. Беспорядочные реплики гостей сплетались в единое повествование о прожитых вместе событиях: со временем нам будет казаться, что они случились при нас.

Они снова и снова рассказывали про лютую зиму сорок второго года, про голод и брюкву, карточки и талоны на табак, про бомбардировки, про зловещие зарницы в небе – предвестье войны, – про запруженные велосипедами и телегами дороги после капитуляции Франции, про разгромленные лавки, про оставшихся без крова людей, которые рылись в обломках, пытаясь найти фотографии или деньги, про вступление немцев – и каждый точно указывал куда, в какой город, – про неизменно вежливых англичан, про беспардонных американцев, про коллаборационистов, про какого-нибудь соседа, ушедшего в Сопротивление, про чью-то дочку, обриту наголо после Освобождения за роман с немцем. Про Гавр, стертый с лица земли, от которого не осталось ничего, про черный рынок, про немецкую пропаганду, про драпающих фрицев, переплывающих Сену возле Кодебека на раздувшихся трупах лошадей. Про крестьянку, которая смачно пукнула в вагоне поезда, полного немцев, и громко заявила: «Им теперь слова не скажешь, а чувства так и прут!» На общем фоне голода и страха все рассказывалось в режиме безличной анонимности: «мы», «все», «кто-то».

Они вспоминали Петена⁸ и пожимали плечами – старик он был, почти развалина, когда его на безрыбье призвали править страной. Имитировали завывание и полет в небе ракет V2, снова разыгрывали пережитый испуг, в самые драматические моменты рассказа изображали мучительные раздумья – «как же, думаю, поступить?» – нагнетали интригу.

Это был рассказ, полный смертей и злобы, уничтожения всего, но излагаемый почти с восторгом, для нейтрализации которого периодически вставлялось пылкое и торжественное

⁸ Филипп Петен – маршал, глава так называемого Французского государства при режиме Виши.

заклинание: «Не приведи господь такое пережить!» – и дальше следовала пауза – назидание какой-то туманной инстанции – и легкий стыд за свой недавний азарт.

Но говорили они только про то, что видели сами, что можно было воспроизвести, воскресить под выпивку и закуску. Им не хватало таланта и уверенности в себе, чтобы рассказывать про вещи известные, но не виденные своими глазами. То есть ни слова про еврейских детей, отправляемых поездами в Освенцим, или про изможденные трупы, вывозимые по утрам из Варшавского гетто, или раскаленное пекло Хиросимы. Отсюда впечатление, – которое потом не смогут исправить ни уроки истории, ни документальные и художественные фильмы, – что газовые камеры и атомная бомба расположены в другом временном срезе, не в том, где масло на черном рынке, воздушная тревога и прятанье в подпол.

Потом по аналогии все переключались на войну предыдущую – 1914 года, Великую войну – ее-то мы выиграли! Победили с кровью и отвагой! Настоящая мужская война, рассказам о которой почтительно внимали присутствующие женщины. Мужчины говорили про Верден и Шмен-де-Дам, про тех, кто отравился газом, и про то, как звонили во все колокола 11 ноября 1918-го, в день окончания войны. Перечисляли названия деревень, куда не вернулся никто из призванных на войну сыновей. Сравнивали тогдашних солдат, месяцами гнивших в окопной грязи, с теми, что сдались в плен в 40-м году и потом просидели там пять лет в тепле и безопасности – не то что мы под бомбежкой. Спорили, кто больше хлебнул романтики и горя.

Потом забирались дальше, во времена, когда сами еще не родились, – туда, где была Крымская война, война 1870-го, где парижане ели крыс.

В описываемом прошлом не было ничего, кроме голода и войн.

Под занавес пели: «Эй, стаканчик вина!» и «Парижский цветок», хором орали во всю глотку слова припева: «Синий, красный, белый – родины цвета». Смеялись, махали рукой и опрокидывали в рот вино: больше выпьешь – меньше достанется фрицам.

Дети не слушали и, получив разрешение, тут же высказывали из-за стола: пользуясь общепраздничным благодушием, заводили запретные игры: скакать по кроватям, висеть на качелях вниз головой. Но запоминали – все. В сравнении с увлекательным временем сказаний, чьи эпизоды еще не скоро выстроятся у них в правильном порядке: разгром Франции в 1940 году, исход мирного населения, немецкая оккупация, высадка союзников, победа – тусклым казалось им то безмянное время, в которое они росли. Дети жалели, что не застали или почти не застали ту пору, когда все скопом снимались с насиженных мест, брели по дорогам и ночевали на соломе как цыгане. Непрожитые годы оставляли в душе стойкое чувство досады. Чужие воспоминания рождали неясную тоску по времени, с которым они так глупо разминулись, и надежду, что когда-нибудь и им перепадет что-то такое.

Свидетельствами красочной эпопеи, серыми и немymi, оставались лишь доты на склонах утесов, и в городках – куда ни кинешь взгляд – руины. Из-под завалов торчали ржавые куски железа, искореженные остовы кроватей. Разбомбленные магазины кое-как обживали бараки на краю развалин. Необезвреженные снаряды взрывались в руках у играющих с ними мальчишек. Газеты предупреждали: «Не трогайте боеприпасы!» При слабом горле врачи удаляли детям миндалины, и те, проснувшись после эфирного наркоза, рыдали и пили теплое молоко. Генерал де Голль смотрел из-под фуражки куда-то вдаль, стоя в три четверти на пожелтевших военных плакатах. Днем по воскресеньям мы играли в лошадки и черного кота.

Послепобедное воодушевление постепенно сходило на нет. Теперь люди думали только о развлечениях, окружающий мир был полон неотложных желаний. Все, что снова появлялось после нескольких лет военных лишений, сначала вызывало ажиотаж: бананы, билеты национальной лотереи, салют. Целыми кварталами – от бабушки, под локти ведомой дочками, до младенца в коляске – люди устремлялись на ярмарку, или на факельное шествие, в цирк Бульоне, рискуя погибнуть в давке. Люди выходили толпой, с молитвами и песнями, на дорогу встречать статую Булонской богоматери и назавтра еще провожали ее много километров. Любой повод – светский или религиозный – годился, чтобы всем высыпать на улицу, словно людям хотелось и дальше не расставаться. Воскресным вечером автобусы привозили с моря парней в шортах, которые горланили песни, свесив ноги с багажной надстройки на крыше. Собаки бегали на свободе и спаривались посреди улицы.

Само это время постепенно превращалось в золотую пору воспоминаний, чья утрата была особенно ощутима, когда по радио передавали песни «Я помню то ясное утро...» или «Теперь все прошло, прошло». Теперь дети жалели о том, что проскочили период Освобождения слишком маленькими, не прочувствовав его по-настоящему.

А мы тем временем росли, «радуясь миру и глядя вокруг», окружаемые наказаниями не трогать незнакомые предметы и беспрестанными сетованиями по поводу карточной системы, купонов на масло и сахар, кукурузного хлеба, от которого пучит живот, угля, который не греет, – «Хоть на Рождество-то будет какао и варенье?». Мы носили в школу грифельные доски и перьевые ручки-вставочки, шагая мимо разобранных завалов, мимо пустырей, разровненных бульдозером в ожидании «новой застройки»⁹. Играли в платочек, в колечко-выйди-на-крылечко, водили хороводы и пели: «Здравствуй, здравствуй, наш сосед, что ты кушал на обед», кидали «мячик об стенку», рассказывали считалку «Шла цыганка по дороге», на переменках ходили под ручку по школьному двору, выкрикивая: «Кто с нами в прятки?» Приносили из школы чесотку и вшей, сидели под платком с вонючим керосином. Друг за дружкой карабкались в рентгеновский фургон – как были, в пальто и шарфах, – чтобы делать снимки на туберкулез. Хихикали от стыда на первом медосмотре, стеснялись стоять в трусах в холодном зале, нисколько не согреваемом голубым пламенем спиртовки, стоявшей на столе у медсестры. Скоро мы – во всем белом, ровными рядами пройдем по улицам под восторженные крики людей – по случаю первого праздника молодежи – до самой беговой площадки, где между небом и мокрой травой под музыкальные вопли из динамика будем выполнять «групповые акробатические упражнения» – гордо и одиноко.

В речах говорилось, что за нами – будущее.

В шумной полифонии праздничных застолий, пока еще не вспыхивали споры и распри на всю жизнь, мы урывками, вперемешку с рассказами о войне, воспринимали еще один важный рассказ – истоки семейного рода.

Из небытия восставали мужчины и женщины, иногда обозначаемые только по степени родства – «отец», «дед», «прабабка», – сведенные к одной характерной черте, к забавной или трагической фабуле – гриппу-испанке, эмболии или удару лошадиного копыта, которые стали причиной их смерти; и дети, не дожившие до наших лет, – целая когорта персонажей, которых не доведется узнать никогда. Ткались нити родства, годами казавшиеся запутанными, пока,

⁹ Масштабный государственный план строительства жилья для населения взамен утраченного во время войны, действовал в 1945–1955 гг.

наконец, мы не начинали безошибочно делить родню на две категории – «кровных» и «пришлых».

Семейное повествование и социальное – по сути едины. Голоса гостей прорисовывали пейзажи нашей юности: поля и фермы, где мужчины с незапамятных времен шли в подмастерья, а девушки – в служанки; какой-нибудь завод, где все они знакомились, начинали встречаться и женились друг на друге, небольшая лавка – высокий удел самых честолюбивых. Они описывали судьбы, где не было иных событий, кроме рождений, свадеб и смертей, иных путешествий, кроме отправки с полком в отдаленный гарнизон, – жизни, полные изнурительного труда, с постоянной угрозой спиться. Школа для этих людей маячила где-то в мифической дали – короткий золотой век с его суровым богом-учителем, ходившим по классу с железной линейкой наперевес и шлепавшим ею нерадивых учеников по пальцам.

Голоса доносили до нас опыт бедности и лишений, существовавших еще в довоенное, докарточное время, они погружались в незапамятный мрак того, что называлось «вот в наше-то время», перебирали его радости и невзгоды, обычаи и способы выживания:

жить в землянке

носить галоши

мастерить тряпичную куклу

стирать золой

нашивать детям на рубашки возле пупка тканые мешочки с дольками чеснока – как средство от глистов

слушать родителей и получать затрещины – «да попробовал бы я слово сказать!»

Перечисляли то, чего не было в прежней жизни, – что отсутствовало или строго запрещалось:

говядина, апельсины

медицинская страховка, семейные пособия и выход на пенсию в шестьдесят пять лет

отпуск.

Вспоминали завоевания:

забастовки 36-го года, Народный фронт, «до этого никто с рабочими не считался»

Мы, малышня, возвращались за стол к десерту и оставались послушать фривольные истории – собравшиеся к концу обеда теряли бдительность и, забывая про юные уши, называли вещи своими именами – или песни родительской молодости, где говорилось про Париж, про девушек, которые «сбились с дорожки», про лихих налетчиц и бандитов с большой дороги: «Громила», «Ласточка из предместья», «Серый табачок скручу я в самокрутку», или жалостные романсы про великую страсть, которые пелись самозабвенно, с закрытыми глазами, всем телом, до слез, утираемых концом полотенца. Мы, в свою очередь, умиляли присутствующих прочувствованным исполнением «Звезды снегов».

Потом пускались по рукам пожелтевшие снимки, захватанные бесчисленными пальцами, что брали их после других обедов: пятна кофе и жира сливались, окрашивая их в какой-то невыразимый цвет. В остолбенелых и торжественных молодоженах, в свадебных гостях, выстроенных вдоль стены рядами в несколько ярусов, невозможно было узнать ни родителей, никого другого. Да и в сидящем на подушке полуголом младенце неопределенного пола мы видели тоже не себя, а кого-то другого – странное существо из немого и уже недоступного времени.

Так, сразу после войны, в бесконечном застолье праздничных дней, среди смеха и выкриков: «Чего там, один раз живем!», память других людей вводила нас в мир.

Помимо рассказов, была память телесная, моторная, передающаяся от человека к человеку в глубине французской и европейской провинции, и ее транслировала походка, манера садиться, разговаривать и смеяться, оклики на улице, жесты за едой, захват предметов. Это незафиксированное на снимках общее наследие роднило – поверх индивидуальных различий, поправок на чье-то добродушие или чью-то злобность – членов одной семьи, жителей одного квартала и всех тех, про кого говорилось: «наш человек». Каталог привычек, набор жестов, выкованных детскими годами в поле, юностью в мастерской, а до них – детством других людей – и так до незапамятных времен:

есть громко, с чавканьем, так, чтоб в открытом рту видна была последовательная метаморфоза поглощаемых продуктов, вытирать губы хлебом, промакивать соус горбушкой дочиста, так чтоб тарелку можно было убрать в буфет без мытья, стучать ложкой о стенки миски, сладко потягиваться в конце ужина. Ежедневно споласкивать одно лицо, остальное мыть по мере загрязнения: руки до локтя – после работы, ступни и коленки детей – летом перед сном, все целиком – по большим праздникам.

Предметы – хватать, дверьми – хлопать. Делать все резко, нахраписто: ловить кролика за уши, чмокать человека в щеку, тискать ребенка. В дни, когда пахнет скандалом, ходить и топтать, пинать стулья, размахивать руками, резко плюхаться на сиденье, старухам – тыкать в передник кулаком, а вставая, обдергивать прилипшую к заду юбку.

мужчинам – постоянно использовать плечи: чтобы носить мотыгу, взваливать на них доски и мешки с картошкой, сажать на шею уставших после ярмарки детей

женщинам – использовать колени и бедра: чтобы зажать кофемолку или откупориваемую бутылку, удержать пойманную курицу, которой потом перережут горло и выпустят кровь в таз

при любых обстоятельствах говорить громко, скандально, словно продолжая извечный спор со Вселенной.

Французский язык – корявый, с примесью диалектов – был неотделим от зычных, напористых голосов, от тел в спецовках или рабочих блузах, от низких домов с палисадниками, от лая собак по вечерам и от затишья перед ссорой, – так же, как грамматическая правильность и нормативная лексика прочно соединялись с ровной интонацией и белыми руками школьной учительницы.

То был язык без лести и комплиментов, который вмещал в себя пронизывающий дождь, пляжи из серой гальки под нависшими карнизами утесов, ночное ведро, которое выливали в компост, и выпивку для батраков; он хранил багаж верований и наказов:

жить по луне, задающей время началу родов, восходу порея и гону глистов у детей

строго по времени года снимать пальто и чулки, подсаживать крольчиху к кролю, сажать салат «точно в свой срок» – драгоценный и трудноисчисляемый промежуток между «рановато» и «поздновато», время, когда природа благосклонна, ибо зимой дети и котята рождаются хилыми и плохо растут, а мартовское солнце «ум застит»

лечить ожог сырой картофелиной, «заговаривать жар» у соседки-знахарки, прикладывать на порез тряпку с мочой

уважать хлеб: на пшеничном зерне виден лик Божий.

Как всякий язык, он выстраивал иерархию, награждал или клеймил – лентяев, беспутниц, «развратников» и проходимцев, принижал детей, одобрял мужчин «толковых», девушек серьезных, уважал начальство и «крупных шишек» и обещал, что «жизнь всему научит».

Он формулировал реальные цели и ожидания: иметь приличную работу, крышу над головой, есть досыта, умереть в своей постели, обозначал границы: не просить луну с неба, не прыгать выше головы, радоваться тому, что имеешь, опасался переездов и новизны, ибо когда люди сиднем сидят на месте, ближайший город – уже край света; он был по-своему самолюбив и таил обиды: мы, деревенские, чай, не глупее других.

Хотя мы, в отличие от родителей, не пропускали школу, чтобы сеять рапс, окучивать картошку и вязать охапки хвороста. Цикл времен года сменился школьным календарем. Лежащие впереди годы становились классами, которые надстраивались один над другим, пространственно-временные отрезки начинались в октябре и заканчивались в июле. К началу занятий мы оборачивали в голубую бумагу подержанные учебники, доставшиеся от учеников предыдущего года. От вида недостертых фамилий на титульном листе и подчеркнутых слов казалось, что мы принимаем эстафету, что нас подбадривают они, все это одолевшие, прошедшие за год. Мы разучивали стихи Мориса Роллина, Жана Ришепена, Эмиля Верхарна, Розмонды Жерар, песни – «О, ель, королева лесов», «Вот и настало воскресенье в красивом майском облаченье». Старались без единой ошибки писать диктанты Мориса Женева, Ла Варенда, Эмиля Мозелли, Эрнеста Перошона. Заучивали грамматические правила классического французского языка. Но переступив порог родного дома, автоматически переходили на язык изначальный, где нужно было не выбирать слова, а только знать, что говорить и о чем помалкивать, – на язык, который знали кожей, телом – как затрецины, как хлорный запах от белой рубашки, как отварную картошку всю зиму напролет, как звон мочи о дно ведра и храп из родительской спальни.

Смерть людей нас совершенно не трогала.

Черно-белая фотография девочки в темном купальнике на галечном пляже. На заднем плане – песчаный откос. Она сидит на плоском камне, ровно вытянув вперед крепкие ноги, опираясь руками о камень, закрыв глаза, чуть наклонив голову, – и улыбается. Одна толстая темная коса перекинута на грудь, другая лежит за плечом. Во всей позе – намерение походить на звезд из журнала «Мир кино» или героинь рекламы масла для загара, дистанцироваться от жалкого и невзрачного девчоночьего тела. Незагоревшие бедра и плечи обозначают силуэт

платья и свидетельствуют о том, что каникулы или поездка на море для этого ребенка – вещь необычная. Пляж пуст. На обороте надпись: «Август 1949, Сотвиль-сюр-мер».

Ей почти девять. Они с отцом гостят у дяди и тети, мелких кустарей, плетущих веревки. Мать осталась в Ивето работать в семейном кафе – бакалейной лавке, которая открыта круглый год. Обычно как раз мать заплетает ей волосы в две плотные косы и с помощью заколок и лент укладывает короной. То ли отец с теткой не умеют так закладывать косы, то ли она сама, пользуясь отсутствием матери, решила оставить их на свободе. Трудно сказать, о чем она думает или мечтает, как она относится к годам, которые отделяют ее от Освобождения, что именно приходит на ум в первую очередь.

Может, только эти образы и останутся в угасающей памяти, других не будет: приезд в разбомбленный город, бегущая куда-то текущая сука, первый день в школе после пасхальных каникул, она никого не знает, выезд материнской родни в полном составе в прибрежный Фекамп, вагон с деревянными сиденьями, бабушка в черной соломенной шляпе, двоюродные братья, которые раздеваются, стоя на гальке, их голые ягодички

игельница в форме туфли, сшитая на Рождество из куска рубашки

фильм «Не такой дурак» с Бурвилем

игры – тайком цеплять на мочки ушей зубчатые прищепки от штор с большими кольцами.

А может, она вспоминает большой кусок времени, оставшийся позади, – учебу в школе, пройденные три класса, расположение парт и стола учительницы, одноклассниц: Франсуазу К., которая всегда паясничает и дурачится, носит вязаную шапку в виде кошачьей морды, а один раз на перемене спросила у нее носовой платок, высморкалась в него, скомкала, сунула ей назад и убежала – а она потом всю переменку ходила с чужими соплями в кармане и чувствовала себя испачканной и опозоренной; Эвелину Ж., которой она сама под партой сунула руку в трусы и нащупала там липкий катышек, Ф., с которой никто не водился, ее однажды отправили в туберкулезный санаторий, и на медосмотре она стояла в синих мужских трусах, перемазанных кашками, а все девчонки смотрели и смеялись. Или вспоминает прежние, уже далекие, лета, одно знойное, когда пересохли пруды и колодцы, и соседи стояли в очереди у колонки с канистрами в руках, а победителем «Тур де Франс» стал гонщик Жан Робик; другое дождливое: они с матерью и тетей собирают мидии на пляже в Вель-ле-Роз, заглядывают в промоину под береговым уступом, и она видит труп солдата – потом его выкопают вместе с другими телами и захоронят нормально.

А может, как обычно, komponует в уме бесчисленные сюжеты из томов «Зеленой библиотеки» и рассказов «Недели Сюжетты» или мечтает о будущем – таком, как в песнях про любовь, которые исполняют по радио.

В ее мыслях точно нет ни политики, ни событий социальной или криминальной хроники – ничего из того, что потом будет считаться неотъемлемым фоном ее детских лет, – этого набора известных, саморазумеющихся фактов: президент – Венсан Ориоль, война – в Индокитае, Марсель Сердан – чемпион мира по боксу, преступники – гангстер Безумный Пьеро и отравительница Мари, убивавшая мужей мышьяком.

Бесспорно одно: ей хочется скорее вырасти. И она точно не помнит: младенца в рубашечке, сидящего на подушке, – на снимке, неотличимом от других таких же снимков, тоже овальных и захватанных, которого ей сунули под нос и сказали: «это ты», заставив считать собой эту незнакомую толстую жившую своей неведомой жизнью в бесследно ушедшее время.

Франция была огромна, жители ее местностей по-разному ели и говорили, в июле ее бороздили гонщики «Тур де Франс», этапы которого все отслеживали по мишленовской карте, приключенной к кухонной стене. Жизнь большинства людей протекала в одном и том же периметре километров в пятьдесят. Когда в церкви победным рыком взмывал распев: «Богородица-владычица, цари средь нас» – все знали, что это «средь нас» означает место, где мы живем, то есть наш городок, самое большое – департамент. В ближайшем городе начиналась экзотика. Остальной мир был ирреален. Самые ученые или стремящиеся расширить свой кругозор ходили в лекторий «Знания о мире». Остальные читали «Ридерс дайджест» или «Созвездие» с его девизом: «Узнай мир по-французски». Открытка из Бизерта, посланная кузенком-новобранцем, ввергала в мечтательное изумление.

Париж являл собой красоту и мощь, загадочный, пугающий конгломерат, где каждая улица упоминалась в прессе или в рекламе – бульвар Барбес, улица Газан, Жан Минер – Елисейские Поля, 116¹⁰, – он будоражил воображение. Людей, которым довелось там пожить или хотя бы съездить туда на экскурсию и увидеть Эйфелеву башню, окружал ореол превосходства. Летними вечерами, на исходе долгих и пыльных каникулярных дней мы ходили к прибытию скорого поезда, чтобы посмотреть на тех, кто съездил куда-нибудь и теперь выходил из вагона с чемоданами, фирменными пакетами из универмага «Прентан», словно после паломничества в Лурд. Песни рассказывали про неведомые края – Юг, Пиренеи, разные «Фанданго страны басков», «Итальянские горы», Мехико, звали в дорогу. В закатных облаках с розовой оторочкой нам мерещились махараджи и индийские дворцы. Мы приставали к родителям: «Все куда-то ездят, а мы – никуда!» – а те в ответ недоумевали: да куда же ехать-то, разве тут плохо?

Все, что было в домах, покупалось еще до войны. Закопченные кастрюли с отбитыми ручками, эмалированные миски со сколами, дырявые кувшины с лужеными заплатками. Пальто перелицовывались, воротники рубашек срезались, воскресная одежда потом донашивалась в качестве будничной. Мы беспрестанно росли – к отчаянию матерей, вынужденных надставлять подолы платьев, покупать обувь на вырост, но на следующий год требовалась новая пара. Все съедалось и использовалось до конца: пенал, коробка с красками «Лефран» и пачка печенья «Лю». Ничто не пропадало даром. Ночное ведро выливалось в садовый компост, лошадиный навоз подбирался на улице и шел на удобрение комнатных растений, газетой перекладывали овощи, набивали промокшую обувь, подтирались в туалете.

Всего было мало, мы жили в тотальном дефиците. Не хватало вещей, картинок, развлечений... понимания себя и мира, которое сводилось к катехизису и великопостной проповеди отца Рике, последним новостям на завтра, изрекаемым низким голосом Женевиэвы Табуи, и рассказам женщин про жизнь, свою и соседей, когда они днем встречались в кафе. Дети долго верили в Деда Мороза и в то, что младенцев находят в розах или в капусте.

Люди ходили пешком или ездили на велосипеде, мерно крутя педали, мужчины – широко расставив колени и зажав брючину прищепкой, женщины – в тесных юбках с разрезом, сдви-

¹⁰ Рекламное агентство, адрес которого появлялся в кино после демонстрации рекламных роликов и перед началом игрового фильма.

нув колени, вычерчивая плавные траектории в спокойствии улиц. Фоном всего происходящего была тишина, мерилom скорости жизни – велосипед.

Все жили рядом с дерьмом. Очень веселились на эту тему.

В каждой семье кто-то из детей умирал. От внезапной неизлечимой болезни, от поноса, судорог, дифтерита. Следом их краткого пребывания на земле оставались могила в форме кровати с железной оградой и надписью «ангел на небесах», да фотографии, при показе которых обычно смахивали слезу, и еще разговоры вполголоса ровным, почти безмятежным тоном, от которого живые дети пугались и думали, что смерть дала им лишь отсрочку. Они будут считаться окончательно выжившими годам к двенадцати-пятнадцати, пройдя коклюш, краснуху и ветрянку, свинку и отиты, ежегодные зимние бронхиты, избежав туберкулеза и менингита, и только тогда про них скажут: надо же, выправился. А до той поры «военным детям», бледненьким, чахлым, с белыми пятнышками на ногтях, приходилось глотать рыбий жир и глистогонное «Люн», грызть пастилки «Жессель», регулярно взвешиваться на стоящих в аптеке весах и кутаться в шарф при малейшей угрозе простуды, есть суп, «чтобы лучше расти», и не сутулиться, – а не то наденут железный корсет.

Младенцам, которые теперь рождались у всех вокруг, уже полагались прививки, патронажные сестры, их ежемесячно носили взвешивать в мэрию на специальных весах для грудничков. Газеты писали, что все равно их умирает до пятидесяти тысяч в год.

Врожденного слабоумия не боялись. Страшились буйного помешательства, потому что оно случается внезапно, непонятно от чего, с нормальным человеком.

Нечеткий, надорванный снимок девочки, стоящей у перил, на мосту. У нее короткие волосы, худенькие бедра и острые коленки. Из-за солнца она прикрыла ладонью глаза. Она смеется. На обороте надпись: «Жинетта, 1937». На ее могиле: «Умерла шести лет от роду в чистый четверг 1938 г.» Это старшая сестра той девочки, что стояла на пляже в Сотвиль-сюр-Мер.

Мальчики и девочки повсюду существуют отдельно. Мальчишки, существа шумные, не знающие слез, вечно что-то швыряющие – камни, каштаны, хлопушки, снежки, – ругались матом и читали «Тарзана» и «Биби Фрикотена». Девочки боялись их и получали строгие наставления никогда не вести себя как мальчишки, играть в тихие игры: хороводы, классики, колечко. Зимой по четвергам девочки учительствовали перед разложенными на кухонном столе старыми пуговицами или фигурками, вырезанными из журнала «Эхо моды». Поощряемые матерями и школой, девочки наушничали и доносили – любимая угроза: «Я все скажу!» Окликавая друг друга, говорили: «Эй, как тебя там!», подслушивали и с пришепетываниями, прикрывая рот рукой, пересказывали неприличные истории, про себя хихикали над святой Марией Горетти¹¹, которая умерла, но не сделала с парнем то самое, что им самим так хотелось поскорей изведать, ужасались собственной испорченности, неведомой взрослым. Мечтали, что вырастет грудь и волосы где надо, а в трусах появится тряпица с кровью. А пока читали комиксы про Бекассину, «Серебряные коньки», «В семье»¹² Гектора Мало, ходили с классом в кино на «Месье Венсана», «Большой цирк» и «Битву на рельсах» – фильмы духоподъемные, воспитывающие мужество и прогоняющие дурные мысли. Но про себя понимали,

¹¹ Итальянская девушка, святая, погибла от ран в борьбе с насильником, беатифицирована в 1950 г.

¹² Так в ориг. тексте.

что правда и будущее – в фильмах с Мартин Кароль¹³, в газетах, чьи названия – «Вдвоем», «Тайны личной жизни» – сулили желанное и запретное бесстыдство.

Новостройки вырастали из-под земли под развороты и скрежет строительных кранов. Нормирование продуктов отменили, стали появляться новинки – с интервалами, достаточными для того, чтобы встретить их радостным удивлением, оценить пользу и обсудить в беседах. Они возникали как по волшебству – невиданные, непредсказуемые. Для всех и на любой вкус: шариковая ручка *Bic*, шампунь в подушечках, тисненая клеенка *Bulgomme*, виниловый линолеум *Gerflex*, гигиенические тампоны *Tampax* и крем для устранения ненужной растительности, пластик *Gilac*, лавсан, лампы дневного света, молочный шоколад с орехами, масло для загара *Vélosolex* и зубная паста с хлорофиллом. Поражало, сколько времени можно сэкономить благодаря пакетикам «быстросупа», скороварке и готовому майонезу в тубике; консервы казались вкуснее свежих продуктов, консервированные груши в сахарном сиропе выглядели шикарней свежих, горошек в банке – вкуснее горошка с грядки. Все больше внимания уделялось «усваиваемости» продуктов организмом, содержанию витаминов и «сохранению фигуры». Всех восхищали изобретения, которые словно отменяли века привычных жестов и усилий, открывали то время, когда, как считали некоторые, вообще ничего не надо будет делать. Другие спорили: стиральная машина-де протирает белье до дыр, а телевидение – портит глаза и не дает спать до непонятно какого часа. Появление у соседей этих знаков прогресса, маркеров социального восхождения, отслеживалось и вызывало зависть. В городе парни постарше разъезжали на «веспах», выписывали круги возле девушек. Потом, гордо выпрямившись в седле, увозили одну из них, и она в платочке, завязанном под подбородком, обнимала его за талию, чтобы не свалиться. Хотелось разом стать на три года старше – глядя, как они с грохотом исчезают в конце улицы.

Реклама с непрекаемым энтузиазмом вдальбывала достоинства вещей: «Мебель фирмы «Левитан» – удовольствия фонтан!», «Шантель» – комбинация, которая не скатывается!», «Растительное масло «Лезьер» – экономия триста процентов!» Она расхваливала их то весело – «Доп-доп-доп, выбирайте шампунь «Доп»!», «Колгейт-колгейт», зубы чище и белей», – то мечтательно – «Счастье входит в дом вместе с *Elle*», – она мурлыкала голосом Луиса Мариано: «Бюстгальтер «Лу» женщине к лицу». Пока мы делали уроки, сидя за кухонным столом, рекламные ролики «Радио Люксембург», чередуясь с песнями, транслировали нам уверенность в будущем счастье: прекрасные вещи пока отсутствовали, но в будущем они непременно станут нашими. В ожидании помады *Baiser* и духов *Bourjois* («Радость с самого утра»), мы собирали пластиковых зверюшек из пакетов с кофе, наклейки с баснями Лафонтена из упаковок шоколада «Менье» и обменивались ими на переменах.

Нам хватало времени, чтобы по-настоящему захотеть что-то: пластиковую косметичку, туфли на тряпичной подошве, золотые часы. Обретенных вещей хватало надолго. Их показывали другим, давали потрогать. Они хранили загадку и магию, которые не исчезали в процессе разглядывания или использования. Вертя вещи так и этак, люди ждали от них чего-то и после того, как становились их владельцами.

Прогресс был пределом человеческих устремлений. Он означал комфорт, здоровье детей, чистые дома и освещенные улицы, науку – все, что так разительно отличалось от мрака деревенской жизни и войны. Он был в пластмассе и покрытии *Formica*, в антибиотиках и

¹³ Актриса французского театра и кино 1950-х годов, звезда фильмов «Пляж», «Лола Монтез», «Французенка и любовь» и др.

выплатах по больничному листу, в воде, текущей из кухонного крана, и мусоропроводе, в летнем лагере, в возможности продолжать учебу и в атоме. «Надо идти в ногу со временем», – говорили по любому поводу, словно подтверждая собственную смекалку и широту взглядов. Темы сочинений в четвертом классе предлагали подумать о «пользе электричества» или опровергнуть «того, кто в вашем присутствии критикует современный мир». Родители говорили: «Молодежь-то будет поумнее нас».

А в реальности из-за нехватки и тесноты жилья дети и родители, братья и сестры спали в одной комнате, мылись все по-прежнему в тазу, нужду справляли на дворе, гигиенические прокладки шили из кусков махровой ткани и после использования отмачивали в холодной воде. Детские простуды и бронхиты лечили горчичниками. Родители принимали от гриппа аспирин с горячим вином. Мужчины среди бела дня мочились возле забора, к долгой учебе люди относились с опаской, как к желанию прыгнуть выше головы, за которым последует неведомая расплата: ум за разум зайдет. У всех во рту не хватало одного-двух зубов. «Не все живут одинаково», – говорили люди.

Порядок дней оставался неизменным и размечался возвратом одних и тех же развлечений, которые не поспевали за обилием и новизной вещей. С приходом весны снова наступала пора первого причастия, праздника молодежи и приходской ярмарки, приезжал цирк шапито «Пиндер»: во время циркового шествия слоны разом загромождали улицу огромными серыми тушами. В июле начинался «Тур де Франс», за которым следили по радио, клеивали в тетрадку газетные вырезки с фотографиями Джеминиани, Дарригада и Копи. Осенью появлялись карусели и киоски передвижного парка аттракционов. Надо было наездиться на год вперед на электрических машинках автодрома под шелканье и искры металлических приводов, под голос из репродуктора: «А ну, молодежь! Поднажмем! Газуем!» На эстраде, где разыгрывали лотерею, все тот же парень с фальшивым красным носом изображал Бурвиля, и не по погоде декольтированная женщина все зазывала посмотреть спектакль, суля невероятно знойную атмосферу: «Как в «Фоли-Бержер» между полночью и двумя часами утра», – дети до 16-ти не допускались. Мы высматривали на лицах тех, кто осмелился пройти за штору и, осклабясь, выходил назад, – следы увиденного зрелища. В запахе сальной одежды и гнилой воды витал разврат.

Позднее наступит возраст, когда занавес балагана поднимется и для нас. На дощатой сцене без музыки вяло раскачивались в танце три женщины в бикини. Свет гас и зажигался снова: женщины стояли неподвижно, с голой грудью, лицом к редким зрителям – на гудроновом покрытии площади мэрии. Снаружи из динамика неслась песня Дарио Морено «Эй мамбо, мамбо италиано».

Религия была официальной канвой и рамкой жизни, она отмеряла ход времени. Газеты печатали рецепты постных блюд, «Почтовый календарь» отмечал все этапы поста от первого воскресенья до Пасхи. По пятницам люди не ели мясного. Воскресная служба, как и раньше, была поводом одеться во все чистое, показать обновку, выйти при шляпке, сумочке и перчатках, посмотреть на людей и показать себя, понаблюдать за церковными певчими. При этом для всех внешние параметры морали и вера в высший промысел выражались на особом языке – латыни. Еженедельно повторяя одни и те же молитвы из псалтыри, терпя ритуальную скуку проповеди, мы словно проходили обряд инициации, очищения перед особым удовольствием: съесть курицу и покупные пирожные, сходить в кино. То, что учителя и другие культурные люди с безупречным поведением могут ни во что не верить, казалось какой-то аномалией. Только религия питала нравственность, придавала человеку достоинство, без которого он жил бы как собака. Церковный закон стоял превыше всех других, и только церковь придавала леги-

тимность важнейшим моментам человеческой жизни: «Брак, не освященный Церковью, не является подлинным браком», – гласил катехизис. Речь шла о вере католической, ибо остальные были ереси или просто бред. На переменках в школьном дворе дети вопили хором считалку: «Магомет пророк Аллаха, / На нем красная рубаха, / У него в руке орех, / Раздели орех на всех».

Первого причастия ждали с нетерпением, как торжественной прелюдии ко всем важным событиям жизни – месячным, школьному сертификату, переходу в шестой класс. Сидя на церковных скамьях, разделенные центральным проходом, парни в темных костюмах с повязками на рукаве и девочки в длинных платьях, под белыми накидками походили на новобрачных, которыми, соединясь попарно, они и станут лет через десять. И в один голос отчеканив на вечерне: «Да отрекусь я от дьявола и пребуду с Иисусом вовеки», можно было впредь обходиться без религии, но оставаться раз и навсегда посвященным в христиане, снабженным необходимым и достаточным багажом, дабы влиться в доминирующее сообщество и твердо знать, что после смерти точно что-то будет.

Все понимали, что можно и что нельзя, где Добро и Зло: система ценностей ясно считывалась на глаз. Маленькие девочки отличались одеждой от девочек-подростков, подростки – от девушек, девушки – от молодых женщин, матери – от бабушек, рабочие – от коммерсантов и чиновников. Богатые считали, что продавщицы и машинистки чересчур модничают: «Прямо всю зарплату на себя надела».

Государственные или частные, школы различались мало: то было место передачи незыблемого знания в обстановке тишины, порядка и почтения к старшим, абсолютного послушания: носить школьную блузу, выстраиваться по сигналу колокола, вставать при появлении директрисы, но не учителя-воспитателя, иметь положенные тетради, перья и карандаши, безропотно воспринимать замечания, зимой надевать рейтузы под юбку. Задавать вопросы имел право только преподаватель. Если мы не поняли какое-то слово или доказательство, – виноваты сами. Мы гордились ограничениями как привилегией, подчиняясь строгим правилами и замкнутому пространству. Школьная форма, обязательная в частных учебных заведениях, наглядно подтверждала их превосходство.

Программы не менялись: в шестом – «Лекарь поневоле» Мольера, в пятом – «Плутни Скапена» Мольера, «Челобитчики» Расина и «Бедные люди» Гюго, в четвертом – «Сид» Корнеля и т. д., не менялись и учебники: история Мале-Изака, география Деманжона, английский язык Карпантье. Этот набор знаний выдавался меньшинству, из года в год подтверждавшему свой ум и твердое намерение дойти от *rosa-rosae*¹⁴ до корнелевского «Рим, ненавистный враг, виновник бед моих»¹⁵, минуя теорему Шаля и тригонометрию, – а большинство тем временем продолжало решать задачки про поезда и совершенствовать устный счет, петь «Марсельезу» на устном экзамене на аттестат. Получить его или технический диплом было событием, которое отмечалось в газетах публикацией фамилий лауреатов. Не осилившие курс сразу чувствовали бремя осуждения, они были неспособными. Хвала образованию, звучащая в каждой речи, маскировала узость его распространения.

¹⁴ Азы латинской грамматики – спряжение существительных женского рода первого склонения.

¹⁵ Монолог Камиллы из пьесы Пьера Корнеля «Гораций». Перевод Н. Рыковой.

Когда, просидев рядом всю начальную школу, мы встречали на улице одноклассницу, поступившую ученицей на производство или на курсы Пижье¹⁶, нам и в голову не приходило остановиться и заговорить с ней, – точно так же, как дочка нотариуса, чье превосходство над нами доказывал желтый загар, привезенный с горнолыжного курорта, – вне школы не удоставала нас взглядом.

Труд, упорство и воля служили мерилom поступков. В конце учебного года, в день вручения наград, мы получали книги, славившие героизм пионеров авиации, военачальников и колонизаторов: Мермоза, Леклера, Латра де Тассиньи, Лиоте. Не забыто было и повседневное мужество: нам полагалось восхищаться отцом семейства – «покорителем будней» (Пеги), «смирненной жизнью, что полна / докучной и простой работы» (Верлен), комментировать в сочинениях мудрые мысли Дюамеля и Сент-Экзюпери, «примеры стойкости героев Корнелия», доказывать, что «любовь семейная учит любви к родине», а «работа гонит прочь три главных недуга – скуку, порок и нужду» (Вольтер). Мальчики читали газету «Доблесть», девушки – журнал «Отважные сердца».

Дабы утвердить молодежь в этом идеале и закалить ее физически, удержать от капканов праздности и обольняющих занятий (чтение и кино), вырастить «хороших парней» и «славных девушек, честных и работающих», семьям рекомендовалось записывать детей в скаутские организации: «Волчата», «Пионеры», «Заводилы» и «Жаннетты», «Крестonosцы», «Добрые друзья» и «Подруги». Вечерами у костра или на рассветной лесной тропе, под воинственно реющим отрядным вымпелом, с речевкой «Йукайди-йукайда!» – ковался волшебный сплав природы, порядка и морали. С обложек «Католической жизни» и «Юманите» смотрели в будущее радостные лица. Эта здоровая молодежь, сыновья и дочери Франции, примет эстафету от старших братьев – борцов Сопротивления, – как заявил в своей пламенной речи президент Рене Коти в июле 54-го года на Вокзальной площади, глядя поверх голов учащихся, выстроенных по заведениям, – а в хмуром небе плыли белые тучи беспросветно дождливого лета.

За фасадом голубоглазой идеальной юности скрывалась – и мы это знали – неоформленная, хлябкая зона со своими словами и вещами, образами и поступками: матери-одиночки, проституция, афиши фильма «Дорогая Каролина», презервативы, загадочный рекламный анонс «интимная чистка, конфиденциальность гарантируем», обложки газеты «Леченье», «женщина способна к зачатию только три дня в месяц», внебрачные дети, развратное поведение, британка Дженет Маршалл, которую Робер Авриль задушил в лесу с помощью бюстгальтера, адюльтер, слова «лесбиянка», «педераст», «похоть»; грехи, в которых нельзя было признаваться на исповеди, выкидыш, дурная жизнь, запретные книги, «Это случилось в Шавильском лесу»¹⁷, сожительство и так до бесконечности. Все, что нельзя было упоминать, – считалось, что об этом полагается знать лишь взрослым, – так или иначе связанное с половыми органами и их функционированием. Секс был в высшей степени подозрителен для общества, которое усматривало его следы повсюду: в декольте, узких юбках, красном лаке для ногтей, черном нижнем белье, бикини, совместном обучении мальчиков и девочек, мраке кинозалов, общественных туалетах, мускулах Тарзана, курящих женщинах, которые сидят нога на ногу, приглаживании волос во время урока и т. д. Он был первым критерием для оценки девушек, разделяя их на «приличных» и «гулящих». Тот же «Индекс моральной оценки» демонстрируемых фильмов, который вывешивался каждую неделю на дверях церкви, направлен был исключительно на борьбу с ним.

¹⁶ Курсы профессиональной подготовки для работы в области сервиса, торговли.

¹⁷ Популярная в 1953 г. и впоследствии песня Пьера Дестая («Все потому, что в Шавильском лесу в мае цвели ландыши... у меня появится сын и хлебнет всего того, что выпало мне...»).

Но бдительность можно было обмануть, и все ходили смотреть фильмы «Манина снимает чадру», «Исступление плоти» с Франсуазой Арну. Нам хотелось быть похожими на их героинь, осмелиться вести себя как они. Между книгами, фильмами и жесткими нормами общества пролегла зона запрета и морального осуждения, и мы не имели права на самостоятельность.

В таких условиях бесконечно долго тянулись годы томления – вплоть до разрешения заняться сексом в браке. Приходилось жить с этой жаждой наслаждения, которое считалось уделом взрослых, но настойчиво требовало удовлетворения, несмотря на все попытки отвлечься и усердные молитвы, и необходимость хранить тайну, способную отправить в разряд извращенков, истеричек и шлюх.

В словаре «Ларусс» написано:

Онанизм – ряд способов искусственного достижения сексуального удовлетворения. Оно часто приводит к серьезным осложнениям; следует пресекать его у детей в период полового созревания. Рекомендовано сочетанное применение брома, обливаний, гимнастики, физической нагрузки, горного воздуха, лечение препаратами железа и мышьяка.

Скрываясь от всевидящего ока общества, мы мастурбировали в кровати или в туалете.

Парни с гордостью шли в армию – считалось, что солдатская форма всякому к лицу. Получив повестку, они шли в кафе и проставлялись в честь дня, когда их признали настоящими мужчинами. До службы они были пацаны и не котировались на рынке труда и супружества. После нее – имели право завести жену и детей. Военная форма, которую они выгуливали по кварталу во время побывок, окружала их ореолом патриотической красоты и потенциального самопожертвования. Их осеняла тень бойцов армии победителей и американских десантников. Новенький колючий драп бушлата, когда мы целовали их, встав на цыпочки, являл неодолимую границу между миром мужчин и миром женщин. Глядя на них, мы чувствовали: вот они, герои.

Под слоем незыблемых вещей – прошлогодних цирковых афиш с портретами Роже Ланзака¹⁸, фотографий первого причастия, раздаваемых подружкам, клуба французской песни на «Радио Люксембург» – дни наполнялись новыми желаниями. По воскресеньям мы собирались толпой у витрины магазина электротоваров – смотреть телевизор. Ради привлечения посетителей владельцы кафе тратились на покупку телевизионного аппарата. По склону холма змеилась трасса мотогонок, и мы целыми днями следили, как оглушительные штуковины летают вверх и вниз. Коммерция с ее новыми слоганами – «инициатива» и «динамичность» – все нетерпеливей взнуздывала привычную городскую рутину. К летней ярмарке и предновогоднему базару добавился новый весенний ритуал – Декада торговли. В центре города из репродукторов неслись призывы что-то покупать вперемешку с песнями Анни Корди и Эдди Константина и обещающие призы – машины «Симка» или столового гарнитура. Местный конференсье, стоя на эстраде на площади мэрии, развлекал публику репризами Роже Николя и Жана Ришара¹⁹, зазывал всех желающих кидать кольца или играть в мгновенную лотерею, как на радио. В стороне восседала на подиуме Королева Коммерции с короной на голове. Под флагами праздника бодро продавался товар. Люди говорили «новая жизнь» или «нельзя сидеть сиднем – совсем отупеешь, корой зарастешь».

¹⁸ Певец, актер, телеведущий.

¹⁹ Популярные комические актеры.

Какое-то непонятное веселье вдруг охватило молодежь из среднего класса, мы устраивали вечеринки, придумывали новый язык, говорили в каждой фразе «отстой», «супер», «круть» и «обалденно», для смеха имитировали великосветский акцент, играли в настольный футбол и называли родителей «предками». Ухмылялись, слыша Иветт Хорнер, Тино Росси и Бурвиля. Мы неосознанно искали кумиров своего возраста. Восхищались Жильбером Беко: на его концертах зрители ломали стулья. По радио слушали станцию «Европа-1», где передавали только музыку, песни и рекламу.

На черно-белой фотографии – две девочки на аллее парка стоят плечом к плечу, у обеих руки за спиной. На заднем плане – кусты и высокая кирпичная ограда, выше – небо с крупными белыми облаками. На обороте снимка: «Июль 1955, сады пансионата Сен-Мишель».

Девочка слева выше ростом, у нее светлые волосы, короткая стрижка с длинной челкой набок, светлое платье и носочки, лицо скрыто в тени. Справа – девушка с короткими и темными вьющимися волосами, на полном лице – очки, высокий лоб высвечен солнцем, одета в темный свитер с короткими рукавами, юбку в горошек. Обе в лодочках, у брюнетки они на босу ногу. Школьные передники они, наверно, сняли для фотографии.

Хотя в темноволосой девочке невозможно узнать ту, с косичками, что позировала на пляже, – она вполне могла вырасти и в блондинку, – но именно она, а не блондинка – и разум, заключенный в этом теле с его уникальной памятью, позволяет с точностью утверждать, что кудри этой девочки – результат перманента, который она после торжественного причастия ритуально повторяет каждый год в мае, что юбка ее перешита из прошлогоднего платья, которое стало мало, а свитер связала соседка. И только через восприятие и ощущения темноволосой девочки в очках четырнадцати с половиной лет этот текст может уловить и воскресить какой-то отблеск пятидесятих годов, поймать отражение, оставленное на экране индивидуальной памяти, историей коллективной.

Кроме лодочек, в наружности девочки нет ничего, что в то время было «принято носить» и что мы обнаружили бы в модных журналах и в магазинах больших городов: длинная юбка из шотландки ниже колена, черный свитер и крупный медальон, конский хвост с челкой, как у Одри Хепберн в «Римских каникулах». Снимок можно датировать и концом сороковых, и началом шестидесятых. На взгляд любого, кто родился после, – это просто старое фото, часть доисторического, относительно собственной истории, времени, где все предшествовавшие жизни спрессовываются. И все же свет, который лег сбоку на лицо девочки и на свитер с только наметившейся грудью, дает ощущение тепла июньского солнца в тот год, который ни историки, ни жившие тогда люди не спутают ни с одним другим – 1955-й.

Возможно, она не ощущает дистанции между собой и другими девочками класса – теми, с кем сфотографироваться вместе ей даже не придет в голову. Эта дистанция проявляется в развлечениях, в организации внешкольного времени, в общем жизненном укладе – и отделяет ее как от девочек «шикарных», так и от тех, кто уже работает в конторах или на производстве. Или она осознает эту дистанцию и не придает ей значения.

Она еще не бывала ни в Париже, до которого сто сорок километров, ни на одной вечеринке, у нее нет проигрывателя. Она делает домашние задания под песни из радиоприемника, слова переписывает в тетрадку и прокручивает у себя в голове целый день – на ходу или сидя на уроках: «Ты говорил, говорил, что ты любишь лишь меня, почему под дождем я теперь стою одна».

Она не общается с парнями, но думает о них постоянно. Ей хочется, чтоб можно было накрасить губы, надеть чулки и туфли на высоких каблуках – носков она стесняется и снимает их, выйдя из дома, – чтобы показать, что она перешла в ту категорию девушек, на которых оглядываются на улице. Для этого в воскресенье после мессы она «шатается» по городу в компании двух-трех подружек, тоже «из простых», всегда стараясь не преступить строгий материнский закон «положенного времени» («Я сказала быть во столько-то – значит быть во столько-то, и ни минутой позже»). Общий запрет на развлечения она компенсирует чтением газетных романов с продолжениями: «Люди из Могадора», «Чтобы не умирали», «Кузина Рашель», «Цитадель». Она постоянно придумывает для себя какие-то вымышленные истории и любовные встречи, которые вечером под одеялом заканчиваются оргазмом. В мечтах она видит себя настоящей шлюхой, и еще она завидует блондинке с фотографии, другим девочками из класса на год старше – ей, потеющей от смущения, до них далеко. Она хочет стать как они.

Она посмотрела в кино фильмы «Дорога», «Расстрига», «Гордецы», «Муссон», «Красавица из Кадиса». Количество фильмов, которые ей смотреть нельзя, но хочется – «Дети любви», «Ранние всходы», «Ночные подружки» и т. д. – гораздо больше, чем разрешенных.

(Ездить в центр, жить мечтами, удовлетворять себя самой и ждать – так можно резюмировать юность в провинции.)

Что она узнала о мире, помимо школьных знаний, накопленных вплоть до четвертого²⁰ класса, какие события и факты оставили в ней след, который позже, при случайном упоминании в чьей-то фразе, позволит сказать «я помню»?

Крупная забастовка на железной дороге летом 53-го года

падение Дьенбьенфу²¹

смерть Сталина, объявленная по радио холодным мартовским утром, как раз перед выходом в школу

ученики младших классов, идущие парами в столовую пить молоко по указу Мендес-Франса²²

лоскутный плед, связанный по кусочку всеми ученицами и отправленный аббату Пьеру²³, чья борода – повод для сальных шуточек

массовая вакцинация всего городка от ветряной оспы, проводимая в мэрии, потому что в городе Ванн от этой болезни умерло несколько человек

наводнения в Голландии.

Наверняка нет в ее мыслях тех солдат, что недавно стали жертвой коварного нападения в Алжире. Это новый эпизод беспорядков, про которые она только позже узнает, что все нача-

²⁰ Во Франции классы считаются в обратном порядке, самые старшие классы – второй, первый и заключительный. Четвертый класс соответствует возрасту в 13 лет.

²¹ Осада и капитуляция французских войск, решающая операция 1-й Индокитайской войны.

²² Пьер Мендес-Франс – французский политический и государственный деятель, радикал, социалист, левоцентрист.

²³ Аббат Пьер, в миру – Анри Антуан Груэ – популярнейший католический священник, проповедник, публицист, участник Сопrotивления, организатор масштабных кампаний помощи бездомным и социально не защищенным.

лось в День всех святых 1954 года, и вспомнит дату и себя, сидящую у окна, с ногами на кровати, глядящую на гостей из дома напротив, которые по очереди выходят в сад облежаться возле глухой стенки, – так что она не забудет ни дату алжирского восстания, ни этот вечер Дня всех святых, от которого останется четкая картинка, как бы чистый факт – молодая женщина устраивается на корточках в траве, а потом встает, одергивая юбку.

В той же потаенной памяти, то есть памяти о том, что немислимо, стыдно или глупо выражать словами, хранится:

коричневое пятно на простыне, которую мать унаследовала от бабушки, умершей три года назад, – пятно несмываемое, которое притягивает ее и вызывает резкое отвращение, словно оно живое

ссора между родителями, в воскресенье перед переводным экзаменом в шестой класс, когда отец хотел прикончить мать и стал волочь ее в подвал к дубовой колоде, куда был воткнут серп

воспоминание, которое возникает ежедневно на улице по дороге в школу, когда проходишь мимо насыпи, где она видела январским утром два года назад, как девочка в коротком пальто для смеха сунула ногу в раскисшую глину. Отпечаток застыл и был виден назавтра и еще несколько месяцев спустя.

Летние каникулы будут долгой полосой скуки, каких-то микроскопических занятий, чтобы заполнить день:

слушать про финиш этапа «Тур де Франс», клеивать фотографию победителя в специальную тетрадку

узнавать по номерным знакам, из какого департамента машины, проезжающие по улице

читать в региональной газете краткое содержание фильмов, которые она не увидит, и книг, которые не прочтет

вышивать кармашек для салфеток

выдавливать угри и протирать лицо одеколоном *Eau Précieuse* или ломтиками лимона

ездить в центр за шампунем или за малым «Ларуссом», опустив глаза проходить мимо кафе, где мальчишки играют во флипер.

Будущее слишком огромно, чтобы его можно было вообразить, – когда-нибудь наступит, и все.

Слыша, как девочки из младших классов поют на перемене на школьном дворе «Сорвем же розу, не дадим увянуть», она думает, что детство кончилось очень давно.

В середине пятидесятых годов во время семейных трапез подростки сидели за столом и слушали, не участвуя в разговоре, вежливо улыбаясь в ответ на не смешные для них шутки, на одобрительные замечания о своем физическом развитии, на игривые намеки, призванные вогнать в краску, и ограничивались ответами на осторожные расспросы про учебу, пока еще не

чувствуя себя вправе участвовать в общей беседе, хотя вино, ликеры и сигареты, доступные им за десертом, уже обозначали вхождение в круг взрослых. Мы впитывали радость праздничного застолья, где привычная жесткость социальной оценки смягчалась, мутируя в благодушие, и насмерть разругавшиеся год назад теперь мирно передавали друг другу плоскую тарелку с майонезом. Слегка скучали, но не настолько, чтобы прямо назавтра бежать на урок математики.

Откомментирав, по мере их поедания, блюда, вызывавшие воспоминания о них же, но съеденных при иных обстоятельствах, выслушав советы по лучшему способу их приготовления, гости обсуждали реальность летающих тарелок, новости про спутник и кто – американцы или русские – первыми ступят на Луну, а также центры срочной помощи аббата Пьера и дороговизну жизни. Рано или поздно всплывала война. Они снова рассказывали про Исход²⁴, про бомбардировки, про тяготы послевоенного времени, про модниц и узкие брючки. То была повесть о нашем рождении и раннем детстве, которую мы слушали с той же смутной тоской, с какой потом пылко декламировали: «Вспомни все, Барбара!»²⁵, выписанное в личную тетрадку стихов. Но в тоне голосов появилось отстранение. Что-то ушло вместе со смертью дедушек и бабушек, переживших обе войны, дети росли, восстановление городов закончилось, теперь был прогресс и мебель на любой вкус. Память о лишениях оккупации и крестьянское детство сливались в одно невозвратное прошлое. Люди так верили, что жить стало лучше.

Больше не заговаривали про Индокитай, такой далекий, такой экзотический («Местные жители переносят мешки с рисом, подвешивая их к противоположным концам бамбукового стебля», как сообщал учебник географии) и потерянный без лишних сожалений при Дьен-бьенфу, где сражались одни головорезы, наемники, которые ничего другого в жизни не умели. Этот конфликт никогда не был частью повседневной жизни людей. Не хотелось омрачать атмосферу и волнениями в Алжире – никто толком не знал, с чего они начались. Но все единодушно считали, включая нас, проходивших Алжир по программе средней школы, что он с его тремя департаментами – часть Франции, как и большая часть Африки, где наши владения занимали на глобусе половину континента. Надо усмирить мятеж, зачистить «гнезда феллахов», этих головорезов, скорых на расправу, чья предательская тень ложилась и на смуглое лицо вообще-то симпатичного араба, торгующего вразнос спальными покрывалами. Привычное подтрунивание над арабами – с их словечками типа «мукера» (женщина), которая «нос засунет в кофеварку, носу станет очень жарко», – подкреплялось уверенностью в их отсталости. И значит, так и надо – использовать солдат алжирского контингента и запасников для восстановления порядка, хотя уж для родителей-то, конечно, большое несчастье – потерять двадцатилетнего сына, который только собирался жениться, – фото юноши было напечатано в местной газете с подписью «Жертва бандитской засады». Индивидуальные трагедии, единичные случаи смерти. Непонятные враги, непонятные бойцы, непонятные битвы, не понятно, за что сражаемся. Не было ощущения войны. Следующую ждали с востока, вместе с русскими танками, которые, как в Будапеште, придут, чтобы уничтожить свободный мир, только теперь ни к чему бежать по дорогам, как в 40-м году, – от атомной бомбы не убежишь. С Суэцким каналом чудом произошло.

Никто не говорил о концлагерях – разве что к слову, в разговоре о том-то или той-то, потерявших родителей в Бухенвальде, – и следовало сочувственное молчание. Теперь это стало личным горем.

²⁴ Массовый уход на юг гражданского населения Бельгии, Голландии, Люксембурга и особенно северной Франции с территорий, занимаемых немецкими войсками в 1940 году, одна из крупнейших миграций XX века, коснувшаяся 8–10 млн. человек.

²⁵ Знаменитое стихотворение Жака Превра.

За десертом больше не пели патриотические песни периода после Освобождения. Родители затягивали «Говори мне про любовь», бодрые старики – «Мехико», а малышня – «Моя бабушка – ковбой!». Мы не хотели позориться и петь, как раньше, свою «Звезду снегов». На просьбы что-нибудь выдать отговаривались тем, что ни одной песни целиком не помним, твердо зная, что Брассенс и Брель не впишутся в послеобеденное благодушие, что к нему лучше подошли бы другие песни, осененные памятью о других застольях и слезах, украдкой вытираемых салфеткой. Мы ревностно оберегали свои музыкальные пристрастия, непонятные им, не знавшим по-английски ни слова кроме *fuck you*, услышанного при Освобождении, и не подозревавшим о существовании группы «Платтерс» и Билла Хейли.

Но назавтра в тишине учебного класса, по навалившемуся вдруг ощущению пустоты, становилось ясно, что накануне – как ни пытайся это отрицать, как ни считай, что ты сам по себе, – был праздник.

Увязшей в бесконечной учебе горстке юных счастливых, которым выпало ее продолжать, казалось – неизменный звонок на урок, очередные четвертные сочинения, бесконечные трактовки «Цинны» Корнеля и «Ифигении» Расина, переводы Цицероновой речи «В защиту Милона», – что все и всегда неизменно. Мы выписывали высказывания писателей о жизни, открывая новое счастье мыслить себя в их сверкающих фразах: «Жить – это пить, не ощущая жажды». Нас переполняло чувство абсурда и тошноты. Потливая телесность отрочества смыкалась с «лишним» человеком экзистенциализма. Мы клеивали в фотоальбомы Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину», царапали на крышке парты инициалы Джеймса Дина. Спisyвали слова из стихотворений Превера и песен Брассенса «Я – хулиган» и «Первая девчонка», запрещенных к трансляции на радио. Тайком читали «Здравствуй, грусть» и «Три очерка по теории сексуальности». Поле желаний и запретов расширялось до бесконечности. Брежнева возмозможность мира без понятия греха. Взрослые подозревали, что современная литература развивает в нас аморальность, не оставляет ничего святого.

А прямо сейчас решительней всего хотелось иметь свой проигрыватель и хоть несколько пластинок. То были вещи дорогие, дающие возмозможность наслаждаться в одиночестве, бесконечно, до отвала, или вместе с другими, переводящие в разряд самой продвинутой группы молодежи – к тем зажиточным лицеисткам, что носили короткие пальто с капюшоном, называли родителей предками и, прощаясь, говорили «чао».

Мы поглощали джаз, спиричуэлс и рок-н-ролл. Все, что пелось по-английски, было окружено ореолом таинственной красоты. *Dream, love, heart*²⁶ – чистые слова, лишённые практического применения, с привкусом каких-то запредельных далей. В закрытой комнате устраивалась тайная оргия с одним и тем же диском, это было как наркотик, который сносил голову, взрывал тело, открывал другой мир – мир ярости и любви – в сознании равный мегавечеринке, куда так не терпелось попасть. Элвис Пресли, Билл Хейли, Армстронг, группа «Платтерс» воплощали в себе современность, будущее, и пели они для нас, для молодежи и только для нас, отрываясь от устаревших вкусов родителей и от невежества малышни, от «Страны улыбок», Андре Клаво и Лин Рено. Мы чувствовали себя посвященными в узкий круг избранных. Но песня Пиаф «Любовники на день» все равно пробирала до слез.

Еще можно было вернуться домой в тишине каникул, вспомнить четко различимые звуки провинции: шаги женщины, идущей за покупками, шорох автомобильных шин, стук молотка

²⁶ Мечта, любовь, сердце (англ.).

в мастерской жестянщика. Часы сочлились микроскопическими целями, растянутыми делами: разложить задания прошлого года, разобрать шкаф, прочесть роман, стараясь закончить не очень быстро. Смотреться в зеркало, с нетерпением ждать, когда отрастут волосы и можно будет сделать хвост. Высматривать у окна, не придет ли внезапно подруга. За ужином приходилось клещами тянуть из нас слова, мы оставляли еду на тарелке, вызывая упрек: «Вот поголодала бы в войну, меньше бы привередничала». Желаниям, раздиравшим нас, родители ставили разумный предел: «Слишком многого хочешь от жизни».

Мало-помалу, болтаясь с места на место отдельными стайками и сталкиваясь в воскресенье после мессы или в кино, все чаще переглядываясь, девчонки и парни начинали знакомиться. Мальчишки подражали своим учителям, каламбурили и острили, звали друг друга «салага», перебивали: «У тебя не жизнь, а одни дырки», «Знаешь шутку про пресс для пюре? Тебя давят, а ты молчи», «У тебя на кухне газ – готовь яйца крутыми». Нарочно говорили так тихо, что было не разобрать, и кричали: «От онанизма люди глохнут!» Прикидывались, что не могут видеть какую-нибудь распухшую десну, и кричали: «Мало что ли ужасов за войну насмотрелись!» Они присваивали себе право говорить все, у них была монополия на слово и юмор... Они выдавали похабные истории, орали: «Мандавошка, мандавошь, на латыни не сечешь». Девочки осторожно улыбались. Спектакль, который устраивали мальчишки, вертясь вокруг них, не казался им особенно забавным, но все же он адресовался им, и девочки испытывали гордость. Благодаря мальчикам они пополняли запас слов и выражений, которые потом позволят им выглядеть продвинутыми в глазах других девчонок, типа «завалиться в койку», «портки» и т. д. Но и тех и других тревожил вопрос: о чем все-таки говорить друг с другом наедине, и требовалась поддержка целой группы болельщиков, чтобы придать храбрости перед первым свиданием.

Дистанция, отделяющая прошлое от настоящего, возможно, видна по свету, разлитому на земле между тенями, скользящему по лицам, прорисовывая складки платья, – в светлых сумерках, и неважно, в какое время суток сделано черно-белое фото.

На этом – высокая девушка с темными волосами, прямыми и средней длины, с полным лицом и прищуренными из-за солнца глазами, она стоит чуть боком, опираясь на одну ногу, чтобы подчеркнуть бедра, обтянутые прямой юбкой ниже колена, и заодно визуальнo сделать их уже. Свет чуть касается правой скулы, подчеркивает грудь, угадывающуюся под пуловером, выше – белый круглый воротничок. Одна рука скрыта, другая свободно висит, из-под закатанного рукава видны часы и широкая ладонь. Несходство с фотографией в школьном саду – разительно. Кроме скул и формы разившейся груди ничто не напоминает девочку двухлетней давности с ее очками.

Она стоит во дворе, выходящем на улицу, перед низким сараем с кое-как сколоченной дверью, какие можно видеть в деревнях или на окраинах городов. В глубине – на фоне неба – выделяются стволы трех деревьев, растущих на высокой насыпи. На обороте: «1957, Ивето».

Конечно, она улыбается и думает только о себе, только о снимке, который фиксирует ту новую девушку, в которую она, кажется, превращается: слушая у себя в комнатке-островке Сидни Беше, Эдит Пиаф и джазовые пластинки в 33 оборота, выпускаемые Международной гильдией грамзаписи, выписывая в блокнот фразы, которые объясняют, как жить, – и то, что выписаны они из книг, делает их весомыми и правильными: «Истинно лишь то счастье, которое ощущается в самый момент проживания».

Теперь она знает свой социальный уровень – у нее дома нет ни холодильника, ни ванной, туалет во дворе, она так и не побывала в Париже – значит, ниже одноклассниц. Она надеется, что они этого не замечают или прощают ей, поскольку она «клевая» и «не парится», говорит «у меня на флэте» и «стремно».

Вся ее энергия устремлена на то, чтобы найти свой стиль. По-прежнему мешают очки от близорукости, которые делают глаза маленькими, а саму ее похожей на зубрилку. Если снять их, она не узнает никого на улице.

Представляя самое далекое будущее – после выпускного, она видит себя, свое тело, свою походку по образцу женских журналов: стройная фигура, длинные волосы, рассыпанные по плечам, как у Марины Влади в фильме «Колдунья». Она работает где-нибудь учительницей младших классов, может быть, не в городе, водит свою машину – высший знак эмансипации – малолитражку в 20 или 40 лошадиных сил, она свободна и независима. На этот образ падает тень мужчины, незнакомца, которого она встретит, и они улыбнутся друг другу, как в песне Мулуджи «Вот увидишь, однажды», или бросятся друг другу навстречу, как Мишель Морган и Жерар Филип в конце фильма «Гордецы». Она твердо решила «сберечь себя для него» и ощущает проступком против грядущей большой любви то, что ей уже знакомо самоудовлетворение. Хотя у нее в тетрадке и выписаны «дни безопасного секса по методике Ожино», в мыслях у нее – только чувство. Между половыми отношениями и любовью – полный разрыв.

Жизнь дальше, за выпускным, – словно лестница, уходящая вверх и теряющаяся в тумане.

В том небольшом запасе памяти, который нужен в шестнадцать лет, чтобы действовать и существовать, детство видится ей фильмом – немым и цветным, где возникают и смешиваются в беспорядке образы танков и развалин, ушедшие старики, самодельная открытка к празднику матерей²⁷, комиксы про Бекасину, первое причастие и игра «мяч об стенку». Из последних лет тоже нечего вспомнить, одно стеснение и стыд, наряды, как у танцовщицы мюзик-холла, завивка перманент, носочки.

Откуда ей знать, что из того 57-го года запомнятся:

бар пляжного казино в Фекампе в одно из воскресений, она не может отвести глаз от одинокой пары на площадке, танцующей блюз, медленно и очень близко друг к другу. Женщина, высокая и светловолосая, была в белом платье с плиссировкой солнце-клеш. Родители, которых она туда затащила, не знали, хватит ли денег расплатиться

ледяной туалет в рекреационном дворе, куда ей пришлось сбежать однажды в феврале прямо посреди урока математики из-за приступа поноса, она думает о сартровском Рокантене, сидящем в сквере, и повторяет: «Небо пусто, и Бог не отвечает», – и не знает, как назвать это чувство сиротства, и ляжки в пупырышках от холода, и живот, искореженный болью. И то, что она чувствует, когда в том же дворе, что на фото, располагается ярмарка, а из-за деревьев несетя ор динамиков, музыка и объявления, слитые в один нечленораздельный гул. И она как будто существует вне этого праздника, отдельно от чего-то прежнего.

Наверняка так преломляются в ней – на стадии ощущений, чувств и образов, без следов подпитывающей их идеологии – полученные сведения о мире. И она видит:

²⁷ Введен во время войны правительством Виши по инициативе маршала Петена.

Европу, разделенную пополам железной стеной, на Западе – солнце и краски, на Востоке – мрак, холод, снег и советские танки, которые когда-нибудь пересекут границу Франции, встанут в Париже, как в Будапеште, у нее из головы не идут имена Имре Надя и Кадара²⁸, часто она повторяет их по слогам

Алжир – обожженная солнцем и кровью земля с кучей засад и укрытий, из которых выскакивают человечки в развевающихся бурнусах, – сама эта картинка взята из учебника истории за третий класс: глава про завоевание Алжира в 1830 году иллюстрировалась картиной Ораса Верне «Взятие Смалы Абд аль-Кадира»

солдаты, погибшие в Оресских горах, лежат на песке, как «Спящий в ложбине» из стихотворения Рембо: «Под солнцем... две дыры алеют на груди».

Образы, скорее всего, отражающие принятие репрессий против мятежников, но это принятие сильно поколебал снимок из местной прессы с группой щеголеватых молодых французов, беседующих на выходе из лица в Баб-эль-Уэде, словно теперь дело, ради которого гибли двадцатилетние солдаты, казалось ей менее правым.

Ничего этого нет в начатом ею дневнике, где она описывает собственную скуку и ожидание любви – слогом напыщенным и романтическим. Она отмечает, что готовит сочинение по корнелевскому «Полиевкту», но больше любит романы Франсуазы Саган, «по сути аморальные, но все же несущие в себе отголосок правды».

Люди как никогда верили, что вещи делают жизнь лучше. В зависимости от достатка меняли угольную плиту на газовую, деревянный стол с клеенкой на стол из твердого пластика, малосильный «Рено» в 40 лошадиных сил на «Дофин», механическую бритву и чугунный утюг на электрические аналоги, металлическую утварь – на пластмассовую. Самой желанной и самой дорогой вещью была машина, синоним свободы, овладения пространством и в определенном смысле – миром. Научиться вождению и получить права считалось большой победой и приветствовалось близкими так же, как получение профессионального аттестата.

Все записывались на заочные курсы, осваивая черчение, английский или джиу-джитсу, секретарское дело. «В наше время, – говорили люди, – надо знать больше, чем раньше». Кто-то без всякого знания языка бесстрашно съездил в отпуск за границу – о чем свидетельствовала буква *F*, наклеенная на номерной знак. По воскресеньям пляжи были забиты телами в бикини, подставленными солнцу в полном равнодушии к остальному миру. Сидение на гальке и периодическое смачивание пальцев ног с приподыманием юбки встречалось все реже и реже. Про стеснительных и про тех, кто не разделял коллективные утехи, говорилось, что у них комплексы. Объявлено было наступление «общества досуга».

Но раздражала политика, парламентская чехарда и беспрестанная отсылка парней под пули из засад. Мы хотели мира в Алжире, а не нового разгрома, как в Дьенбьенфу. Голосовали за крайне правого Пужада. Повторяли «к чему мы идем». Переворот 13 мая в Алжире резко напомнил людям о разгроме 1940 года – все бросились скупать сахар и растительное масло на случай гражданской войны. Люди верили только в генерала де Голля, способного вызволить из любой беды и Алжир, и Францию. И почувствовали облегчение, когда спаситель 1940 года

²⁸ Янош Кадар, Имре Надь – венгерские политические деятели, руководители страны в период восстания 1956 года, подавленного советскими войсками. Надь казнен в 1958 г.

великодушно вернулся и прибрал страну к рукам, словно теперь их укрывала огромная тень того, чей рост, постоянный объект их шуток, был явным доказательством сверхчеловеческих способностей.

Мы, запомнившие сухощавое лицо под козырьком фуражки, довоенные усики с плакатов на стенах разбомбленного городка, мы, не слышавшие его призыва к Сопротивлению, с изумлением и разочарованием обнаружили у него отвислые щеки и кустистые брови разжиревшего нотариуса и голос с заметным старческим дребезжанием. Персонаж, выбравшийся из собственного имения в Коломбе, в утрированной форме демонстрировал, как много времени протекло от нашего детства до сегодняшнего дня. И досадно было, что он так быстро пресек то, что мы, штудировавшие в это время синусы и косинусы, хрестоматию Лагарда и Мишара, сочли было началом революции.

«Получить оба аттестата» – первый в конце предпоследнего года, второй, год спустя, – о законченном среднем образовании было бесспорным признаком интеллектуального превосходства и залогом будущего общественного признания. Для большинства людей экзамены и испытания, которые случались с нами потом, не имели такого значения, они считали, что «здорово доучиться хотя бы до этого».

Мы слушали музыку из фильма «Мост через реку Квай» и чувствовали, что впереди – лучшее лето жизни. Успешная сдача «бака» – выпускного экзамена бакалавра – разом придавала нам общественный статус, словно подтверждая то доверие, которым наделило нас общество взрослых. Родители старались обойти всех родственников и друзей и сообщить им славное известие. Всегда кто-нибудь начинал балагурить: «Да знаю я, что такое «бак», прыгал с него в Сену солдатиком!» Июль неощутимо начинал походить на июль предыдущего года с его штрих-пунктирным чередованием книг и пластинок, с набросками стихотворений. Эйфория спадала. И только мысль о том, чем могли стать эти каникулы в случае несдачи экзамена, возвращала ценность успеху. Настоящим венцом победы на экзамене могла быть только всепоглощающая любовь – такая, как в фильме «Марианна моей юности». А пока был флирт, тайные свидания с тем, кто с каждым разом забирался все дальше и дальше и кого вскоре придется бросить, потому что нельзя же, чтоб «первый раз» был с парнем, у которого, как считали подружки, морда красная, как кирпич.

Наконец, в это лето или в следующее, раскрывалось пространство. Самые богатые отправлялись в Англию, ездили с родителями отдыхать на Лазурный Берег. Остальные – работать вожатыми в детские лагеря, чтобы сменить обстановку, увидеть неизвестную Францию и заработать на осеннюю покупку книг, вышагивая по дорогам и распевая «Пируэтик-пируэт, есть орешек или нет!» вместе с дюжиной крикливых мальчишек и прилипчивых девчонок, таская в походной сумке набор бутербродов и аптечку первой помощи. Они получали первую зарплату, социальную страховку. Оказавшись на время воплощением идеалов светской республики, чьим радостным достижением стали «активные методы воспитания», они гордились порученным делом. Следя за утренним умыванием каких-нибудь «львят», вереницей выстроившихся в трусиках у водопроводных кранов, за шумными трапезами, где прибытие тарелок с рисовой кашей вызывало вопль энтузиазма, они верили, что стали частью модели общества справедливого, гармоничного и доброго. По большому счету, каникулы были изматывающими и героическими. И точно запомнятся надолго – мы понимали это даже тогда, когда, хмелея от обретенного соседства с мальчишками, наконец-то оказавшись вдали от родительских взглядов, в джинсах и с папиросой в зубах, скатывались вниз по ступенькам в подвальчик, откуда неслась музыка супервечеринки и нас охватывало острое ощущение молодости – безбрежной

и скоротечной, как будто в конце каникул предстояло умереть, как героине фильма «Она танцевала одно лето». Иногда после медляка, очнувшись от этого отчаянного чувства, кое-кто оказывался на раскладушке или где-нибудь на пляже с членом (до этого ни разу не виденным, разве что на фото и то вряд ли) и кучей спермы во рту, потому что не дала раздвинуть ноги, вспомнив в последний момент про «календарь дней потенциального зачатия по системе Ожино». Вставал бледный невзрачный рассвет. На слова, которые, едва услышав, тут же хотелось забыть – «ну возьми в рот, отсоси!» – надо было срочно накладывать какие-то другие слова из песен о любви: «Вчерашнее утро уходит бесследно, оно далеко и его не вернешь...», приукрашивать и выстраивать в сентиментальном ключе вымышленную версию «самого первого раза», укутывать меланхолией память о сорвавшейся дефлорации. Если не получалось, то покупались эклеры и конфеты, горе заедалось кремом и сахаром или вычищалось голодом. Но было ясно, что теперь невозможно вспомнить прежнее – мир до того, как к тебе прижалось чужое голое тело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.